

которая поначалу оставалась прерогативой крайне узкого круга элиты. Во многих случаях — примером может служить серб Вук Караджич — осознание, что их потенциальная нация «отстает» от других, прежде всего пришло к тем людям, которые собирали фольклор (песни, рассказы и поговорки), составляли словари и создавали национальные алфавиты и языки.<sup>41</sup> В итоге, поскольку западные идеи распространялись куда стремительнее, чем западные политические и экономические реалии, восточноевропейские националистические течения возникли еще до индустриализации. Соответственно, в этой части мира национализм был скорее причиной (субъективной потребностью «догнать»), чем следствием функционального императива индустриализации.

Если националистическая идеология действительно имеет значение, тогда «большое значение имеет то, чем именно воображает себя нация... Имеет значение, какой образ нации возникает в итоге — мирная по своей природе или воинственная, демократическая по своей природе или авторитарная, приемлющая новые экономические методы или традиционно аграрная, открытая для тех, кто хочет к ней присоединиться, или предпочитающая расовые (и, соответственно, непроницаемые) барьеры и так далее».<sup>42</sup> Рассуждения Шпорлюка логически подводят к вопросу о том, откуда у нации возникает такое самовосприятие и как интеллигенция преобразует его в период модерности в ее провиденческую миссию.

### **Этнические мифомоторы и эмоциональные призывы национализма**

Джон Армстронг, первым начавший исследовать нации до национализма, нашел ответ в априорном существовании «мифо-символических комплексов», которые с ранних времен определяли границы этнических групп.<sup>43</sup> По мнению Армстронга, такие границы по самой своей сути были нестабильными, поскольку изначальное негативное определение групп от Другого, как правило по языковому принципу (пример — русское слово «немцы», происходящее от

---

<sup>41</sup> О значении субъективно воспринимаемых различий между политико-экономической реальностью и культурным потенциалом см.: *Szporluk R. Communism and Nationalism*. P. 88.

<sup>42</sup> *Ibid.* P. 164.

<sup>43</sup> *Armstrong, John. Nations before Nationalism*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982.

«немой»: те, кто не способен говорить на языке своей группы), не являлось достаточным для отделения этнической принадлежности как «клубка смещающихся взаимодействий» от других идентичностей. Возникновение устойчивых этнических идентичностей зависело от создания дополнительных символических «стражей границ», от религиозных верований и практик до внешних маркеров статусной дифференциации (одежда, характерные архитектурные паттерны, групповая символика и пр.). Ключ к сохранению этнических идентичностей лежал в передаче от поколения к поколению отличительно-символических групповых маркеров, — достижение, которое становилось возможным только благодаря «включению индивидуальных символов, как вербальных, так и невербальных, в мифическую структуру».<sup>44</sup> Армстронг называет наиболее сложные из этих мифических структур «конституирующими мифами» (мифомоторами) и постулирует, что они позволяли определить идентичность группы «в отношении к государственному образованию». Устная передача мифомоторов в долитературную эпоху была обязательным условием возникновения идеи единой групповой судьбы:

Наиболее важная цель декламации мифа — создать у членов группы четкое осознание их «единой судьбы». С точки зрения мифо-символической теории, единая судьба определяет уровень того, до какой степени отдельный эпизод — либо исторический, либо «чисто мифический», вызывает чувство выраженного аффекта, подчеркивая солидарность людей в борьбе с враждебной силой, т. е. усиливая актуальность восприятия границ.<sup>45</sup>

Далее Армстронг отмечает, что этнические мифомоторы, как правило, содержат «мощный религиозный компонент», не только потому, что «культовые организации определяют уровень проницаемости распространения этнического мифа», но и потому, что «понятие разграничения религиозных и светских верований было непредставимым» до эпохи современного национализма.<sup>46</sup> Так, помимо собственных этнических мифов, во всех православных государственных образованиях существовало легитимирующее представление о правителе как о «помазаннике божьем», в отличие от католических стран, где правитель мог быть только защитником

---

<sup>44</sup> Ibid. P. 3–8.

<sup>45</sup> Ibid. P. 9.

<sup>46</sup> Ibid. P. 283.

папы.<sup>47</sup> Кроме того, во многих досовременных политических образованиях легитимизация происходила на основании «мифа о бастионе» (*antemurale*), согласно которому государственное образование является последним рубежом, защищающим от вторжения чуждых религиозных групп (в европейском контексте, как правило — мусульман).

Надлежит вкратце продемонстрировать применимость предложенного Армстронгом анализа этнических мифомоторов к нашему исследованию. Определяющий мифомотор сербского национализма XIX в. строился вокруг Битвы на Косовом поле (1389), в которой князь Лазарь вместе с большинством своих бойцов погиб от рук захватчиков-мусульман, османских турок. Ранняя канонизация Лазаря как мученика за христианскую веру и сакрализация основателя средневековой сербской династии Неманичей Стефана Немани (св. Симеона) иллюстрирует роль, которую православная церковь играла на раннем этапе в сохранении памяти о средневековом сербском государственном образовании. Параллельно шел процесс зарождения традиции устной эпической поэзии, посвященной героям Косова поля. Изустная передача цикла эпических поэм о Косовом поле в течение нескольких веков неизбежным образом привела к возникновению различных интерпретаций, в которых религиозный мотив мученичества (князь Лазарь якобы предпочел Царство Божье своему мирскому царству) дополнялся прославлением героизма воинов, таких как витязь Лазаря Милош Обилич, нанесший османскому султану Мураду смертельный удар на поле боя. Две темы — религиозного мученичества и светского героизма — постепенно слились, превратившись в XIX в., в эпоху национализма, в символическое сырье для создания героического самовосприятия нации. Героическое самовосприятие интеллигенты-националисты кодифицировали в форме более сложного националистического мировоззрения — особенно важную роль в этом сыграли литераторы: прославляя героев Косова и возрождая память о средневековом государственном образовании (империи царя Душана), они создавали идеологическое обоснование для войн Сербии против Османской империи за национальное освобождение.

Но хотя теория Армстронга позволяет объяснить значимость мифомоторов для создания этнических групп, она не позволяет разгадать загадку того, почему основополагающие мифы со временем не утрачивают своей способности вызывать сильные коллективные чувства. Ключом к разгадке может послужить предложенное Мирчей

---

<sup>47</sup> *Armstrong J. Nations before Nationalism. P. 293–294.*

Элиаде различие между «мифическим» и «историческим» временем. По мнению Элиаде, если в рамках линейного и необратимого исторического времени конкретный человек участвует в уникальных и потому неповторимых *событиях*, то в онтологии мифа «предмет или действие приобретают реальность только в той степени, в какой они воспроизводят или повторяют архетип». «Воспроизведение архетипов» через «повторение парадигматических жестов», по сути, уничтожает «профанное время» и переносит человека, «который повторяет типовой жест... в мифическую эпоху, в которой произошло его зарождение». <sup>48</sup> Важным следствием «мифологизации исторических персонажей» в распространенных формах фольклора, таких как эпическая поэзия, является то, что эти персонажи лишаются конкретной исторической индивидуальности и личных биографий, поскольку «народная память не приспособлена к тому, чтобы сохранять отдельные события и реальные фигуры. Она функционирует с помощью других структур: категорий вместо событий, архетипов вместо исторических персонажей». Создание мифа тем самым является «последней — а не первой — стадией возникновения героя». Будучи канонизированным в народной памяти, герой своим примером призывает к повторению парадигматических действий и даже может вызывать «мифические видения» — например, «в 1912 г. целая сербская бригада видела, как Марко Королевич [другой канонический персонаж сербской эпической поэзии] возглавил атаку на замок Прилеп, который много веков назад был вотчиной народного героя». Подобным же образом в популярной русской былине, посвященной войне с Наполеоном, не упомянуты Александр I и Бородинская битва, осталась только «фигура Кутузова в образе народного героя». <sup>49</sup>

Изобретательная теория Элиаде, изначально созданная для того, чтобы осмыслить отличительные черты архаического сознания традиционного человека, имеет непосредственное отношение к изучению современного национализма, поскольку разные типы мифов — как об этническом происхождении, так и о предках, героической эпохе, упадке и возрождении, — которые были похоронены под глубоким слоем досовременного коллективного сознания, превратились в протонациональные символические составляющие, которые были включены в современные националистические идеологии

---

<sup>48</sup> *Eliade, Mircea. Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return. New York: Harper, 1959. P. 34–35.*

<sup>49</sup> *Ibid. P. 42–43.*

и переработаны ими.<sup>50</sup> Впрочем, из приведенных выше примеров столь же явственно следует, что такие мифы часто рождаются в кризисные эпохи и вновь обретают значимость в столь же чрезвычайных ситуациях, когда, по словам Элиаде, «мир разрушается и воссоздается». И если для традиционного человека Элиаде такие ситуации приобретают характер ритуала, который подтверждает «периодичность творения» (рождения, свадьбы, похороны, празднования Нового года и пр.),<sup>51</sup> для современного политизированного человека разрушение и воссоздание чаще связано с надеждой на «обновление и возрождение» во времена сильнейших политических потрясений, таких как войны и революции. В результате мифических героев прошлого вспоминают именно в такие времена, дабы они вдохновляли на героические деяния, которые могут и не свершиться в отсутствие «парадигматического жеста».

Прекрасной иллюстрацией к такой мифологизированной модели служит очень точно названное Смутное время — период истории Московского государства начала XVII в., политический кризис, связанный с вопросом престолонаследия. Пятнадцать лет (1598–1613) политической неразберихи, общественного возмущения, появления «самозванцев» и вторжения Речи Посполитой завершились войной 1612 г., по ходу которой захватчики были изгнаны, а на трон посажен новый царь (Михаил Романов, 1613). Впервые за всю историю Московии народ — а по сути, социальная коалиция средних общественных слоев, которая противостояла не только захватчикам, но и местным боярам и повстанцам-казакам, пришла к победе не под руководством верховного правителя: во главе ее стояли купец Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.<sup>52</sup> Минин и Пожарский, впоследствии канонизированные в народной памяти, удостоились большого памятника перед московским собором Василия Блаженного — памятник был заказан Александром I в ознаменование двухсотлетия начала войны (1812 г.). Неудивительно, что начавшееся в том же году вторжение Наполеона в Россию породило целый поток канонических образов, почерпнутых из Смутного времени, которые вдохновляли военачальников вроде М. И. Кутузова на героические деяния, каковым предстояло стать составной частью новой народной легенды. Более века спустя, когда разрушительное гитле-

---

<sup>50</sup> *Smith, Anthony.* Myths and Memories of the Nation. New York: Oxford University Press, 1999. P. 57–97.

<sup>51</sup> *Eliade M.* Cosmos and History. P. 49–93.

<sup>52</sup> *Platonov, Sergei F.* The Time of Troubles. Lawrence: University of Kansas Press, 1970. P. 123–163.

ровское нашествие грозило стереть Советскую Россию с лица земли, Сталин в своей знаменитой речи на Красной площади (ноябрь 1941 г.) упоминал имена Кутузова и Суворова, а также Минина и Пожарского и их средневековых предшественников Александра Невского и Дмитрия Донского. Великая Отечественная война, в свою очередь, привела к появлению новых героев, таких как маршалы Жуков и Конев, которые впоследствии были канонизированы в советско-русской мифологии.

Эти примеры, по сути, показывают, что вторжение мифологического времени Элиаде во время историческое не является случайностью, но представляет собой необходимое условие для возможности сдержать обещание национального «обновления и возрождения» после «разрушения и создания». Именно в этом смысле мифомоторы можно считать *мифами, которые вызывают социальное движение (мобилизацию)* и тем самым являются функциональной потребностью современного национализма. Дело тут в том, что мифомоторы способствуют единению коллективного сознания нации на базе общих представлений, а также образов и нарративов, передающихся из поколения в поколение. Будучи вписанными в коллективную память, эти образы и нарративы, в свою очередь, подталкивают к действию, а важнейшим следствием становится то, что в «смутные времена» отдельные представители нации проявляют готовность исполнить свой основной долг и, по словам Вебера, «принять смерть во имя общности».

Безусловно, на создание полноценных национальных мифов на базе уже существующих мифомоторов затрачиваются значительные усилия по «изобретению традиции», а современный национализм в большой степени отличается от смутного осознания единой судьбы, которое существовало в досовременный период.<sup>55</sup> Однако не так уж сложно заметить, что тип уже существующих мифомоторов накладывает важные ограничения на спектр доступных возможностей для изобретения, так что новое самовосприятие нации нельзя выбрать произвольно. Более того, — и здесь мы возвращаемся к Веберу, —

---

<sup>55</sup> The Invention of Tradition / ed. by Eric Hobsbawm, Terence Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Подробное обсуждение взаимоотношений между этническими мифомоторами и современным национализмом см. в: *Smith, Anthony*. The Ethnic Origin of Nations. Oxford: Basil Blackwell, 1986, а также новый материал в: *Smith, Anthony*. Ethno-Symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. London: Routledge, 2009. Моя аргументация созвучна позиции Смита, который придает особую важность «большой длительности» для понимания национализма, при том что мой подход ближе к модернистским теориям, чем его «перениалистический».

политическое значение национальных мифов можно гарантировать только в том случае, если они будут восприняты современным государством. С другой стороны, непрекращающийся массовый отклик на эти мифы является функцией не только от распространения государственных образовательных программ и массового призыва в армию, но и от нового исторического опыта, который превратил донациональное представление об общей групповой судьбе в веберовскую единую политическую судьбу, т. е. судьбу группы, привязанной к современному (не древнему) государственному образованию — зарождающемуся национальному государству.

Хорошим примером такой трансформации служит Сербия, где Балканские войны (1912–1913) и Первая мировая война (1914–1918) явились теми определяющими элементами исторического опыта, которые помогли окончательно превратить нацию в общность с совместной памятью и единой политической судьбой. Эта трансформация произошла и потому, что успешный «реванш за Косово» по ходу Балканских войн попал в резонанс с этническим мифомотором, и потому, что колоссальные боевые потери, равно как и страдания гражданского населения от действий оккупационных австро-венгерских властей во время Первой мировой войны, затронули почти каждую сербскую семью. В результате прочная идентификация с государством закрепилась на массовом уровне, а опыт коллективной борьбы и изначальных успехов в противостоянии несоизмеримо более многочисленной австро-венгерской армии заставили по-новому звучать основной акцент Косовского мифа на «героическом противостоянии несоизмеримо более сильному противнику». По мнению Вебера, подобная массовая идентификация с национальным государством чаще является результатом такого выходящего за обычные рамки опыта, когда политическое осознание важности национального государства проникает в самые широкие слои населения:

Правильно только одно: у наций, в которых зависимость их экономической элиты от политической властной ситуации не демонстрируется наглядно каждый день (как у англичан), нет инстинктов, ориентированных на такие специфические политические интересы; по меньшей мере их нет в широких массах нации, которым приходится бороться с будничными трудностями, — и было бы несправедливым от этих широких масс их требовать. В великие же моменты, например в случаях войн, значение национальной мощи проникает и к ним в душу — и тогда оказывается, что национальное государство зиждется на самобытных психологических основах даже в широчайших экономически порабощенных слоях нации, а не

только у «надстройке», представляющей собой организацию экономически господствующих классов.<sup>54</sup>

Совершенно очевидно, что наблюдения Вебера также применимы и к России. С другой стороны, в этих наблюдениях (с учетом контекста разговора о национальном государстве и экономической политике) национально-государственная точка зрения принимается за данность, т. е. не учитывается возможность существования разрыва между мифом о государстве и мифом о нации.<sup>55</sup> В случае России Смутное время не только породило героев, деяния которых были вписаны в патриотическую коллективную память, но и обострило социальное самосознание среднего слоя российского общества, который впервые увидел в нации сущность, потенциально отдельную от царя-самодержца и «его государства». Символический разрыв между государством и нацией, возникший тогда впервые, нашел выражение в религиозном дискурсе (представление о Святой Руси как о православной общине, потенциально независимой от царя), но оброс новыми коннотациями в эпоху национализма, когда культуртрегеры, выступавшие против самодержавного правления Николая I (1825–1855), включили понятие «Святая Русь» в антигосударственный национализм — сперва «правых» славянофилов, а потом «левых» народников. Империя, со своей стороны, так полностью и не усвоила ни один из вариантов этнического мифомотора, при том что она избирательно и все более настойчиво пользовалась призывами к национальным интересам, чтобы создать новую взаимосвязь между «царем и народом». Конечным следствием стало раздвоение мифов о государстве и нации, которое в полной мере использовали большевики, чтобы представить свой революционный переворот как воплощение мечты о «подлинно народной власти в России».

Чтобы случай России не воспринимался как аномалия, следует отметить, что подобная ситуация сложилась в 1970-е гг. и в Иране, где режим шаха Резы Пехлеви вернул к жизни миф о древней Персидской (Ахеменидской) империи, чтобы оправдать проекцию своей мощи вовне, включение национальных и религиозных меньшинств в космополитическую (т. е. имперскую) схему, а самое главное — обожествление «королевской власти как основного, незаменимого

---

<sup>54</sup> Вебер, Макс. Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы (1895–1919). М.: Праксис, 2003. С. 30–31.

<sup>55</sup> Классическая работа, посвященная мифам о государстве: Cassirer, Ernst. *The Myth of the State*. New Haven: Yale University Press, 1946.



и ниспосланного свыше института объединения империи и выбора ее пути». <sup>56</sup> При этом существовал и влиятельный контрмиф в форме истории о Кербеле — раннеисламского нарратива, повествующего об оспаривании права наследования плаща пророка Магомета; этот нарратив стал основой самоопределения для влиятельной секты шиитов. Приводить здесь подробности этой сложной истории нужды нет. Достаточно отметить, что «на протяжении многих веков она играла непреходящую роль в построении иранского общества» и тем самым стала средством «изобретения» иранской национальной идентичности. После того как миф о Кербеле был радикальным образом переосмыслен иранским духовенством, он стал мощным инструментом контрмобилизации, облегчив создание революционной коалиции, выступавшей против шаха. Тем самым борьба между империей и нацией вошла в русло культуры, обретя форму противостояния между противоположными мифами, только один из которых мог в итоге оказаться «политически истинным». <sup>57</sup>

Эти примеры показывают, что представление о единственном главенствующем этническом мифомоторе нельзя принимать за данность и что контрмифы могут использоваться для того, чтобы подорвать легитимизирующие мифы о государстве, выявив их историческую «фальшь» и тем самым низведя их до «статуса легенды». Не менее примечательно и то, что те, кто используют эти мифы, «могут придать истории, легенде и даже басне вид авторитетности и правдоподобия, тем самым подняв их до уровня мифа», что может послужить составной частью новых «социальных конструкторов», основным примером каковых в современном мире служит нация. Наконец, как утверждает автор этой классификации Брюс Линкольн, мифы могут видоизменяться в соответствии с «новыми направлениями интерпретации» с целью изменить «природу чувств», которые они вызывают. <sup>58</sup> Как мы увидим далее, все эти способы использования мифов широко представлены в обоих наших случаях.

Разговор о взаимоотношениях между этническими мифомоторами и современным национализмом позволил нам сделать полный круг и показать, что веберовское представление о нации как *единокультурной общности с совместной памятью и единой политической судьбой, созданной определяющим историческим опытом*, и поныне

---

<sup>56</sup> Lincoln, Bruce. Discourse and the Construction of Society: Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification. New York: Oxford University Press, 1989. P. 27–38 (см. p. 34).

<sup>57</sup> Ibid. P. 35–37.

<sup>58</sup> Ibid. P. 25.

сохраняет свою теоретическую и эмпирическую верность. Прежде чем завершить это пространное обсуждение веберовского подхода к национализму, необходимо перечислить еще несколько тезисов, выдвинутых Вебером в попытке объяснить, почему национализм в современном мире настолько привлекателен для масс.

Первый из тезисов, строго говоря, относится не столько к нациям, сколько к этническим группам, хотя, судя по всему, применим и к первым. Как мы уже отмечали, для Вебера и этнические группы, и нации являлись подтипами статусных групп, определяемых с позиций их особых претензий на социальную честь на основании их общей культуры. Вебер полагал, что отличительной чертой этнической или национальной чести служит тот факт, что она субъективно доступна любому члену группы. Именно поэтому этническая честь является единственным источником статусного превосходства, доступным широким массам:

Этническая честь — это специфическая «массовая» честь, ибо она доступна каждому из тех, кто входит в сообщество верящих в единство своего происхождения. Белые бедняки («poor white trash») американского Юга, часто влачащие жалкое существование из-за отсутствия работы для свободных людей, в эпоху рабства были более яркими расистами, чем сами плантаторы, потому что их социальная честь целиком определялась деклассированным положением черных.<sup>59</sup>

Если в более традиционные времена в обществе, состоявшем из отдельных сословий, единственным источником всеобщей идентичности, который выходил за рамки провинциального мира местной общины и делал возможным посмертное уравнивание как источник утешения слабым и угнетенным за все их страдания в земной юдоли («Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»), являлась религия, то в современных условиях той эгалитарной силой, которая размывает статусные границы и придает осмысленность повседневной мирской жизни, предстает нация. Размывание статусных различий внутри групп через общие чувства национальной гордости и превосходства, которые можно высказать перед внешними группами, содержит в себе, при всем своем преходящем характере, сильную эмоциональную привлекательность для масс, поскольку поднимает их честь в их собственных глазах. Самым важным политическим

---

<sup>59</sup> Вебер М. Хозяйство и общество. Т. II. Общности. С. 74. Верно ли предположение Вебера с эмпирической точки зрения — вопрос открытый, однако в теоретическом смысле оно говорит о многом.

следствием этого призыва национализма к статусным устремлениям низших классов — следствием, которое Вебер не формулирует, — является относительная простота, с которой внутренние социальные конфликты можно перевести во внешние национальные.

Тем не менее, анализируя современное ему рабочее движение, Вебер делает несколько важных замечаний касательно культурной близости социализма и национализма. По словам Вебера, в обычной ситуации рабочий класс — в отличие от государственного чиновничества, определенных частей класса капиталистов или интеллигентов-националистов — не разделяет их интересы к имперской экспансии. И все же пролетариат можно мобилизовать на защиту империализма посредством комбинирования эмоционального воздействия и невнятных призывов к корыстолюбию:

Если, как показывает опыт, вопреки всему мелкобуржуазные и пролетарские слои так часто и легко отказываются от пацифистских интересов, то основания этого лежат... частью в более эмоциональном настрое всякой неорганизованной «массы», частью в смутном представлении о неких неожиданных шансах, которые могут возникнуть благодаря войне. ...«массы» как таковые — по крайней мере, в их субъективном представлении — не теряют ничего ощутимого, кроме разве что в крайнем случае самой жизни, но это — угроза, оценка и влияние которой представляют собой весьма зыбкие величины, легко сводимые к нулю путем эмоционального воздействия.<sup>60</sup>

Эти строки, безусловно, написанные под влиянием Первой мировой войны, когда массовая военная пропаганда произвела доселе немислимое воздействие и рабочий класс решительно не сумел остаться на позициях интернационализма, имеют очевидное значение для трактовки всех последующих националистических конфликтов. В этом смысле замечание Вебера о том, что массам нечего терять, кроме своих жизней, можно воспринимать как ироническое наблюдение, что националистические призывы обладают куда большей эмоциональной силой, чем социалистические («пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»).

Надо сказать, что мыслителем, который лучше всех объяснил способность эмоциональных призывов перечеркнуть все бытовые соображения о том, не слишком ли дорогую цену придется заплатить, оказался Жорж Сорель, крупнейший идеолог политического мифа современной эпохи. Сорель, который видел в создании политических

<sup>60</sup> Вебер М. Хозяйство и общество. Т. II. Общности. С. 291–292.

мифов важнейшее средство выковывания сознательности рабочего класса через призывы к «эмоциональности масс», всеобщей стачке и «непосредственным действиям» (т. е. политическому насилию), объясняет преимущества мифа над абстрактными теориями Маркса следующим красноречивым образом: «Миф невозможно опровергнуть, так как он по своей сути тождествен убеждениям данной группы, является выражением этих убеждений на языке движения, а значит, неразложим на части, которые можно было бы описать средствами рационального исторического анализа».<sup>61</sup>

По мнению Сореля, мифологизация классово́й борьбы использовалась как способ отделения рабочих от государства, поскольку власть правящих классов зиждилась, помимо монополии на физическое принуждение, на мифе о государстве как «интеллектуальной спайке нации». Если рабочее движение ставило задачу подорвать мощную мистическую риторику государства и эмоциональные призывы правителей к солидарности всех классов во имя патриотизма, оно должно было создать равный по силе контрмиф, способный вызвать сильные антипатриотические чувства. Конфронтация с государством через насилие в этом смысле является неизбежной, поскольку только таким образом классовая борьба может вызвать глубокую эмоциональную привязку к делу революции.<sup>62</sup>

То, что революционные представления Сореля не претворятся в жизнь, стало очевидно по ходу Первой мировой войны, когда выяснилось — на ряде примеров, за вычетом традиционных империй, — что миф о государстве как «интеллектуальной спайке нации» действительно стал «тождествен убеждениям отдельной группы» и тем самым превратился в «неопровержимый» источник эмоциональной привлекательности для масс. В результате многие из последователей Сореля, ставшие анархо-синдикалистами, обратились к мифу о нации как более надежному инструменту достижения радикальных политических перемен. Наиболее примечательным примером подобной трансформации может служить молодой Муссолини, газета которого красноречиво поменяла свое название с “*La lotta di classe*” («Классовая борьба») на “*Il popolo d’Italia*” («Народ Италии»). В новом националистическом ключе идея бесклассового общества заместилась «военизированным национал-социализмом», в котором армия станет служить инструментом уравнивания классов, иерархически

<sup>61</sup> Сорель, Жорж. Размышления о насилии. М.: Фаланстер, 2013. С. 51.

<sup>62</sup> Там же. С. 134. Определение государства взято из: *Horowitz, Irving Louis. Radicalism and the Revolt against Reason: The Social Theories of Georges Sorel. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1968. P. 131–132.*

организованной «школой дисциплины» для масс, а кроме того — поставщиком авангарда нового типа, «окопной аристократии». <sup>63</sup>

Вебер, участвовавший в качестве гражданского добровольца в Великой войне, безусловно, мог наблюдать это превращение рабочих в патриотов. Возможно, именно этот опыт позволил ему выдвинуть оригинальную мысль об избирательном средстве между добродетелями, которые продвигает рабочее движение, и добродетелями, в которых нуждаются массовые армии во время войны. Вебер, в частности, отмечал, что «государство, которое стремится построить дух своей массовой армии на понятиях чести и товарищества, не должно забывать, что в повседневной экономической борьбе рабочих именно эти чувства обеспечивают основную нравственную силу для просвещения масс, а значит, нужно позволить им свободно развиваться». <sup>64</sup>

Общность коллективистских эмоциональных основ классовой и национальной борьбы, безусловно, служит одной из причин возникновения избирательного средства между социализмом и национализмом. Однако и в этом случае утверждение Вебера необходимо дополнить следующим наблюдением: сходство между социалистическими и националистическими добродетелями коренится не только в «повседневной борьбе рабочих», но также и в воинствующем характере современных социалистических партий. Как заметил друг Вебера, анархо-синдикалист Роберт Михельс (в глубине души — последователь Сореля), существует «близкое сходство между боевой демократической партией и военной организацией» — доказательством тому может служить упорное использование лидерами социалистических движений языка военной тактики и стратегии. По мнению Михельса, Бебель и Энгельс были, «по сути, писателями-вояками», которые то и дело прибегали к «казарменному сленгу», причем это не являлось «случайным совпадением», а было связано с «чутьем к избирательному средству». <sup>65</sup>

Представление о партии рабочего класса как о боевой организации достигло апогея в знаменитом определении Сталина, который назвал компартию «командным составом и штабом пролетариата», — определение, которое в некотором смысле объясняет избирательное средство между коммунизмом и национализмом в коммунистический

<sup>63</sup> Об изменении названия газеты Муссолини, свидетельствующем о его превращении из социалиста в националиста, см.: *Gregor, A. James. Young Mussolini and the Intellectual Origins of Fascism. Berkeley: University of California Press, 1979. P. 190–191, 207–222. О его понятии «окопная аристократия» см.: Fascism / ed. by Roger Griffin. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 28–29.*

<sup>64</sup> *Beetham D. Max Weber and the Theory of Modern Politics. P. 146.*

<sup>65</sup> *Michels, Robert. Political Parties. New York: Free Press, 1962. P. 80.*

период. Хотя верность Сталина марксистско-ленинской идеологии и проводившаяся им политика заставляют усомниться в применимости термина «националистическая» к его политической мотивации, то, что он опирался на межпартийную фракцию, мировоззрение которой Роберт Такер метко описал как «большевизм правых радикалов», говорит о многом. Как его ни назови — националистом в особом смысле слова или неопатримониальным советским самодержцем, который уничтожил свою нацию, Сталин, очевидно, осознавал, как важны традиционные мифы о государстве для мобилизации нужных политических элит на дело нового революционного мессианства, в котором СССР будет играть роль авангарда мирового пролетариата. «Военизированный национал-социализм» Муссолини, в котором армия служит школой дисциплины для масс, явно был бы не чужд Сталину, с тем лишь важным отличием, что в рамках ленинского мировоззрения компартия и ее (в случае Сталина) непогрешимый лидер возведены на пьедестал национального самопоклонения. Однако, если принять во внимание эту ключевую подмену, становится ясно, почему и как партия с успехом использовала националистические лозунги, чтобы вдохновить «бойцов революции» на решение грандиозной задачи превращения «отсталой России» в «страну металла».

Идеи Вебера о способности современного национализма обеспечить (хотя бы временно) статусное равенство и об избирательном сродстве социализма с национализмом следует поместить в более широкий исторический контекст. Если представление о статусном равенстве является неотъемлемой частью понятия «нация» и, соответственно, присутствует повсеместно, то избирательное сродство между социализмом и национализмом имеет более глубокие исторические корни, к рассмотрению которых Вебер так и не обратился. В периферийных обществах России и Восточной Европы социализм и национализм возникли как два взаимосвязанных отклика на ощущение относительной отсталости от Запада.

### **Сравнительная отсталость, интеллектуальная мобилизация и ресентимент: распространение национализма от обществ-первопроходцев к обществам-последователям**

Исследуя промышленное развитие Европы, Александр Гершенкрон выстраивает теорию *экономической отсталости*, цель которой — объяснить явление, регулярно повторяющееся в экономической истории, а именно, тот факт, что индустриализация в странах, которые отставали